

ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ КУЛЬТУРЫ

А.М. Руткевич

ПРОШЛОЕ ИСТОРИКА

Любая теория сознания указывает на его единство, т.е. на то, что в каждый данный момент времени согласуются компоненты внешнего и внутреннего опыта, прошлого и настоящего — без самосознания, без «Я» не было бы связной биографии. Прошлое связано с настоящим уже на уровне самосознания: строго говоря, уже интроспекция является ретроспекцией, поскольку мы не воспринимаем данные нашего сознания, но вспоминаем о том, что только что имело место, но уже не существует. Акт самосознания вмещивается в поле сознания, а тем самым изменяет его: любое познание есть познание прошлого (пусть самого недавнего). Мы фиксируем как настоящее то, что уже успело измениться. Сознание времени есть интуиция непрерывной связи между прошедшим, настоящим и будущим, причем о прошедшем и будущем мы можем говорить лишь потому, что они суть содержания сознания (сохраненное сознанием или им предваряемое), а настоящее невозможно без этих двух измерений, будучи просто границей между ними.

Прошлое существует только в сознании тех, кто помнит; говоря об исторической *реальности*, нужно всякий раз учитывать то, что она может быть таковой только для того или иного субъекта, мыслящего или переживающего прошлое. Смена точки зрения означает изменение горизонта, перспективы, а тем самым меняется и картина прошлого. Научный взгляд на прошлое является одним из многих возможных подходов, причем далеко не самым насущным. Историческая наука вообще является довольно поздним плодом одной из культур. Но вместе с возникновением науки появляется и стремление «снять» это многоголосие, заменить плюрализм мнений знанием. Беспредпосылочного познания не существует, но там, где перспектива задана целью именно познания (не эстетического созерцания, не моральной оценки, не религиозной надежды и т.п.), произвол мнений исчезает — ученого интересует исключительно сам предмет (то, что Гегель назвал *die Sache selbst*), а не бесконечные игры воображения или поиски утраченной идентичности.

Очевидно то, что любое познание опирается на закон тождества: по ходу рассуждения значения терминов не должны меняться, в опыте мы имеем дело с относительно стабильными вещами. Если они растягиваются и растекаются, то мы перестаем их фиксировать, не можем дать ни одного определения, а потому не в состоянии связно что-либо рассказывать. «Прошлое» для любого ученого означает тем самым ряд состояний, каждое из которых может рассматриваться в неподвижности и самотождественности. Субъективная концепция времени Августина, из которой истекают как «длительность» А.Бергсона, так и «временность» В.Диль-

тея или М.Хайдеггера, передает наш опыт переживания потока становления, но понятийное мышление неизбежно разрывает эту целостность, представляет ее как ряд точек, каждая из которых может рассматриваться независимо от прочих. Непрерывность истории нами переживается, однако мыслить мы можем только прерывными образами и понятиями. Без точек нет и линии, между любыми точками всегда есть зазор. Поэтому истории нет без фактов об этих «точках», но к фактам она не сводится — сами факты зависят от того, какие отрезки прошлого мы приняли за относительно неизменные «точки», как мы в своем воображении заполнили зазоры между ними. Историк не занимается «изучением времени»: математик, физик и психолог говорят нечто о самом времени (не только о событиях во времени), историк же принимает ту или иную версию времени, интересуясь «прошлым», т.е. состояниями и событиями, которых уже нет. Однако нельзя быть специалистом по «прошлому вообще» — мы всякий раз избираем какой-то изменявшийся во времени предмет. Все процессы суть переходы одних состояний в другие, идет ли речь о Метагалактике или протоне, биологическом виде или данном растении, цивилизации или ребенку. Но всякий раз диахрония предполагает синхронные срезы, состояния и существа, которые сменяются другими. Бергсон заметил бы, что пространственные образы в таком случае переносятся на длительность, но иного пути у науки просто не существует, поскольку в понятиях мы постигаем не непрерывность, но переходы от одних состояний к другим. Научное мышление имеет дело с измеримым и логически определенным, оно ограничено — на это издавна указывали не только мистики, провидцы и поэты, но и сами ученые, понимавшие, что есть те области, о которых им нечего сказать, а потому и не следует говорить.

Историк имеет дело со свидетельствами, прежде всего с документами, дошедшими до нас из прошлого. Даже если мы читаем изданный неделю назад текст Гомера или Платона, он представляет давнее прошлое. Вернее, несколько прошлых времен: первого издания данного перевода, первого издания оригинала, датировки дошедшей до нас рукописи и т.д., вплоть до момента его создания. В случае философских и научных текстов понимание идей, аргументов, выдвижения гипотез в известном смысле вневременно (хотя и протекает во времени). Доказательство теоремы Пифагора значимо для математика независимо от истории пифагорейского союза; прослеживая спор Сократа с кем-нибудь из софистов, мы можем вообще отвлечься от вопроса об авторе диалога. В известном смысле это относится и к произведениям литературы и искусства: сонеты и драмы Шекспира доставляют наслаждение независимо от всех споров по поводу их создателя. Работа историка начинается с того момента, когда через документ и с его помощью мы обращаемся к его автору (мотивам написания, предполагаемой аудитории и т.д.), а затем и к тому миру, который ушел, оставив некоторое число свидетельств. Именно эти человеческие миры являются предметом исторической науки. Документы являются поводом для вопросов, но задает их именно историк.

В русском языке (и не только в русском) отсутствует то различие между «историей как таковой» и «писаной историей», которое имеется в немецком (*Geschichte*, *Historie*). *Res gestae* отличаются от *historia rerum gestarum*. Словом «история» мы пользуемся для обозначения трех различных множеств: 1) все прошлые явления, события, процессы в человеческом мире; 2) все наши знания об этих событиях; 3) все тексты (или речи) по

этому поводу. Как и в былые времена, многие «истории» мы рассказываем устно (хотя бы в виде чтения лекций), исторический фильм, будь он научно-популярным или художественным, также представляет собой некий «рассказ» о прошлом.

Эти три значения часто смешиваются: знания могут отождествляться с рассказами и текстами, сами прошлые события — с нашими знаниями о них. Полное их отождествление уничтожает само историческое знание: прошлое таково, как о нем кто бы то ни было рассказывает. Если прошлые события = нашим сведениям = текстам (рассказам), то мы получаем разновидность солипсизма, опирающегося на тавтологию: «мои исторические представления суть мои исторические представления». Всем нам понятно, что знания бытуют в текстах и речах, а сама прошлая реальность известна нам через знания и тексты. В этом отношении историк ничем не отличается от всех прочих ученых, которые также пишут тексты для выражения своих знаний по поводу внешней реальности, не прибавляя при этом, что эта реальность представляется именно им, а не кому-нибудь еще.

Историческая наука дает нам знания о человеческом прошлом — получить эти знания можно только посредством познания. Как заметил А.-И. Марру, определения истории как «рассказа о прошлом», «исследования» или «изучения прошлого», представляют собой смешение цели (знание) и средств ее достижения¹. Разумеется, «человеческое прошлое» является предметом еще ряда наук; например, *homo sapiens* существует примерно 100 тыс. лет, и лишь последние 5–6 тыс. лет является предметом истории. Хотя своя история имеется у тех племен, которыми занимаются этнографы, методы исторической науки (за исключением археологии) почти «не работают» применительно к первобытным племенам.

Научное исследование возможно только при однозначном признании того, что познание прошлого возможно. Далеко не все человеческие культуры обладали аналогом того, что мы называем сегодня «наукой», а историческая наука вообще является достаточно поздним феноменом нашей культуры — научное изучение прошлого существует примерно два столетия. В отличие от всех прочих способов рассказа о прошлом, историческая наука притязает на истинное знание: нельзя одновременно сидеть на двух стульях, т.е. быть одновременно членом научного сообщества и тем, кто считает существование такового избыточным. Как метафизик, я вполне могу считать, что все сведения науки сомнительны, что Господь Бог создал мир мгновение назад, вложив нам память о нескольких тысячелетиях письменной истории или миллионе лет эволюции человека. Как ученый, я обязан принимать ту картину мира и человека, которую дают другие науки — у меня нет ничего лучшего. Любой претендующий на истинность рассказ (таковым может быть и рассказ об эволюции видов или о «черных дырах») предполагает наличие независимого от рассказчика предмета. И текст, и устное слово, и ряд иллюстраций выражают мысль о некотором предмете вне головы рассказчика. Даже если он передается воспоминаниям о собственной интеллектуальной биографии, он указывает на нечто иное, чем сами высказывания. Сами прошлые события, деяния индивидов и групп, социальные институты и т.д. мыслятся как реальные, несмотря на то, что из сферы бытия они уже перешли в небытие. Но это не мешает историку рассматривать умерших людей как реально существ-

¹ Marrou H.-I. De la connaissance historique. P., 1955. P. 32.

вовавших: все науки имеют дело с давним или недавним прошлым, поскольку и свет звезд доходит до наблюдателя через тысячи лет, и даже фиксируемая экспериментатором ситуация успела стать прошлой, пока информация дошла до его сознания. Пишущий статью об экономической или демографической ситуации ученый имеет дело с тем, что уже изменилось, пока он писал и публиковал статью.

Поэтому историк, подобно всем остальным ученым, имеет полное право рассматривать ситуации прошлого так, словно они обладают наличным бытием. Машины времени не существует, и он не в состоянии вернуться в прошлое; верифицировать или фальсифицировать свои высказывания историк может только косвенными данными, но и в этом отношении он мало чем отличается от прочих ученых — переход от «знания по знакомству» к «знанию по описанию», от *évidence* к *inférence* осуществляется во всех науках. Форма изложения знаний может измениться: быть может, развитие компьютерной анимации приведет к тому, что через пару десятилетий значительную часть текстов заменит компьютерная графика, проигрывание истории в каких-то мультфильмах и «стратегических играх». Но и сегодняшний научно-популярный фильм опирается на текст (сценарий) и является итогом познавательных усилий.

То, что история хуже или лучше «рассказывается», также ничуть ее не отличает от прочих наук — о биоценозах, галактиках или демографических процессах мы тоже рассказываем, поскольку иного способа поделиться нам известным с другими людьми не существует. Но я могу и не делиться полученными сведениями, исследовать для самого себя, заниматься историческими изысканиями исключительно для удовлетворения собственного любопытства. Точно так же может поступать любой ученый, который в силу внешних причин (скажем, цензурных препятствий) не может ожидать того, что открытое им будет при жизни опубликовано, но он продолжает исследование, несмотря на то, что никто об этом не ведает. Если я никому не передаю полученные знания, то они не перестают таковыми оставаться. Иначе говоря, само исследование отличается и от трансляции знаний, и даже от коммуникации в рамках научного сообщества. Теория есть «чистое», т.е. незаинтересованное созерцание, которое, конечно, выражается посредством слов (без них нет и мышления), но сведение знания к «нарративу» есть черта нашей болтливой эпохи (Г.Гессе назвал ее «фельетонной»). Конечно, пока мои знания не объективировались в виде статьи, книги, доклада на конференции, они не вошли в состав того, что мы называем «наукой», но исследование предшествует любому изложению и протекает оно чаще всего не в словесной форме у большинства естествоиспытателей, да и у многих гуманитариев². Иначе мы не испытывали бы трудностей при словесном выражении того, что хорошо нам известно. Чтобы рассказывать, нам нужно знать.

² К. Гинзбург писал по этому поводу: «Речь идет о формах знания, в логическом пределе тяготеющих к *немоте*, — в том смысле, что их правила... не поддаются формализации и даже словесному изложению. Невозможно выучиться профессии знатока или диагноста, ограничиваясь практическим применением заранее данных правил. В познании такого рода решающую роль приобретают (как принято говорить) неуловимые элементы: чутье, острый глаз, интуиция» (Гинзбург К. Мифы — эмблемы — приметы: Морфология и история. М., 2003. С. 226.). Стоит обратить внимание на эту «немоту» — такого рода познание не есть «нарратив», любые «рассказы» суть следствия, изложение того, что не было получено путем пересказа прочитанных документов. К грамматической герменевтике всегда прибавляется психологическая (дивинация).

Подобно тому, как нельзя быть «немножко беременной», нельзя быть «чуть-чуть историком» и в свободное от работы в архивах время считать историографию литературным вымыслом³. Авторы умозрений и прозрений, исторических романов, «фэнтэзи», «альтернативных историй», идеологических трактатов и т.п. просто не принадлежат к тому же сообществу, что историки. Их деятельность иногда бывает полезной для популяризации исторического знания или постановки проблем, которыми занимаются сами историки; иной раз они знают предмет ничуть не хуже ученых мужей. Плоды творчества этих авторов куда лучше известны публике (и значительно лучше оплачиваются), но для историка кардинал Ришелье предстает в ином виде, чем в «Трех мушкетерах», цари и диктаторы мало чем напоминают персонажей «театра одного актера» Э.Радзинского — вымысел даже самого научно «подкованного» писателя (достаточно вспомнить «Войну и мир» Толстого, романы Алданова и т.п.) оценивается нами по иным критериям, чем диссертация или монография. Так как труды ученой братии всегда серьезны и почти всегда скучны, уместна ироническая усмешка, но сама эта ирония всегда вторична: если нет работающего по жестким правилам научного сообщества, то исчезнет и позиция скептического пересмешника. В условиях господства какой-нибудь официальной догмы эта позиция бывает плодотворной, когда такой официоз отсутствует, его приходится изобретать: слова «фундаментализм», «позитивизм» в устах сегодняшних профессиональных ироников выдают то, что сколь угодно критичная наука вызывает у них неприязнь уже своим существованием, но и обойтись без нее они не могут. Такова участь паразита, живущего за чужой счет, подворовывающего и приторговывающего, но находящего себе оправдание в том, что и обворованный им кормилец не лишен недостатков.

Особенностью истории является то, что наблюдать события прошлого мы не в состоянии, нет возможности провести эксперимент⁴; эмпирический базис составляют оставленные людьми прошлого следы, «улики», свидетельства. Если мы (вслед за Расселом) разграничим материальные структуры и структуры событий⁵, то обнаружим в этом случае, что историк изучает прошлые события, отталкиваясь от оставленных ими материальных

³ А потому попытки синтеза «модернистской» (т.е. научной) историографии и «постмодернистского» ее опровержения — в качестве примера можно взять хотя бы доклад Й.Рюзена «Утрачивая последовательность истории» (См.: Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып. 7. М., 2001) — по существу, означают либо «сидение между двух стульев», либо стыдливую «сдачу» исторической науки постмодернистскому anything goes, либо просто пустую болтовню.

⁴ Рассуждения об «экспериментальной истории», как это ни странно, встречаются в текстах тех историков, которые всячески сближают историографию с романистикой. Когда читаешь фразу вроде следующей: «Американские историки вслед за романистами активно экспериментируют с формами репрезентации материала» (Чеканцева З.А. Современное историописание // Диалог со временем: Альманах интеллектуальной истории. Вып. 11. М., 2004. С. 366), что, по мысли автора, свидетельствует о возможности эксперимента в исторической науке, то сразу возникает вопрос: имеет ли автор (или те, на кого он ссылается) хотя бы малейшее представление об эксперименте в естественных науках?

⁵ «Дом имеет материальную структуру, а исполнение музыки — структуру событий... напечатанная книга имеет материальную структуру, тогда как эта же самая книга при чтении вслух имеет структуру событий» (Рассел Б. Человеческое познание: его сфера и границы. Киев, 2001. С. 496).

следов. Его интересуют почти исключительно события человеческого мира — природные события интересны для него лишь в том случае, если они воздействовали на людей. Писание истории, по определению, есть *описание* человеческих действий, отношений, а они всегда наделены смыслами. Любое наше описание (как, впрочем, и объяснение) событий в человеческом мире есть рассказ. Но и об извержениях вулканов, движении континентов, образовании планетных систем мы также рассказываем. Особенностью не только истории, но и всех социальных наук является то, что мы осмысленно рассказываем об осмысленной другими реальности. Не вдаваясь в дискуссию по поводу (возможных) различий между описанием и повествованием, можно сказать, что любое повествование есть разновидность описания. Рассказ о прошлом описывает в данном случае не природные события, но поступки людей, а потому включает в себя гипотетические суждения относительно мотивов и страстей. Мы предполагаем, что действия данного лица были обусловлены определенными знаниями, религиозными или моральными убеждениями, эстетическими вкусами, что та или иная группа придерживалась тех или иных религиозных воззрений и т.д. Уже поэтому от историка требуются иные навыки, чем от того, кто рассказывает о прошлом галактик или биологических видов. Историка интересуют люди, а не артефакты, не творения как таковые — от них и через них он идет к творцам. Разумеется, речь идет не о неповторимой индивидуальности явлений — если бы реальность состояла из такого рода монад, то невозможно было бы не только научное исследование, но и повествование. «Науки о духе» постигают конкретное явление на базе общих знаний, имеющегося опыта, но здесь интерес представляет само индивидуальное, не сводимое к общему закону. К. Гинзбург назвал такой подход «уликовой парадигмой», которая характерна для исторического познания — историк идет по следам и ищет приметы. Того же мнения держится и К. Гирц: науки о культуре сравнимы с психоанализом и в том смысле, что они не дают предсказаний в строгом смысле слова, но «ставят диагноз»; они не утверждают, что «болезнь» появится неизбежно, но если уж она присутствует, то они могут предсказать ее течение⁶.

Мы понимаем других людей по аналогии с самими собой, сопоставляя их представления об объектах и процессах с нашими собственными. Чем дальше от нас интересующие нас существа, тем меньше мы их понимаем, поскольку тем меньше возможны аналогии с нашим собственным кругом представлений о мире. Все «науки о духе» неизбежно опираются на индукцию (вывод по аналогии есть разновидность индуктивного вывода). Особенность истории заключается в том, что мы имеем дело с обществами, которые «работали» по иным правилам, чем наше собственное. Нечто совсем иное (*ganz Andere*, как говорят немецкие теологи об опыте Бога) не могло бы войти в связный рассказ — без сходных черт, заданных человеческой природой, мы не могли бы говорить и об отличиях. Те науки о человеке, которыми располагает историк, возникли в последние два века и ориентированы на реалии индустриального (и постиндустриального) общества. Современные экономические и политологические теории лишь с огромными натяжками и немалыми оговорками применимы к Древнему Египту, в котором одной из главных отраслей хозяйства было созидание достойных могил для усопших. Предметом для историка

⁶ Geertz C. Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme. Fa/M., 1994. S. 37.

оказываются институты, которым далеко не всегда можно найти аналог в нашем мире. Сравнения храмового хозяйства в Аккаде с колхозом, а строительства пирамид со строительством железной дороги «Архангельск-Норильск» столь же анекдотичны, как и сравнение живописи Пикассо с наскальными рисунками людей верхнего палеолита. Но если мы считаем познаваемой нашу социальную реальность, если экономика, социология, демография, лингвистика и прочие науки дают нам правдоподобное знание об окружающем мире, то нечто подобное мы можем сказать и о прошлом, будь оно недавним или давним.

Э.Хобсбаум однажды указал на область между «современностью» и «историей», заметив, что к чисто историческому исследованию при изучении недавнего прошлого примешиваются внешние для него факторы. Это «сумеречная зона» между историей и памятью, между огромным числом доступных документов (много большим, чем за любой другой век истории) и памятью участников событий, которые еще способны сказать ему: «Нет, это было совсем не так». Наша собственная жизнь вплетается в повествование, поскольку мы сами слышали рассказы тех, кто застал времена, которые станут предметом собственно исторического познания только для наших внуков; мы сами сформированы этими недавними событиями, а потому даже самый строгий ученый может вдруг сбиться на политическую публицистику. Тем более, что времена быстрых перемен, революций, сломов, «мутаций» никак не способствуют объективности взгляда. Память еще не угасла, историк либо должен ждать еще несколько десятилетий (но тогда может завершиться и его жизнь), либо соревноваться с социологами, демографами, экономистами и даже журналистами; ему приходится опрашивать живых, а не мертвых; работу в архивах ему заменяют интервью со свидетелями. Для тех, кто родился в последние десятилетия XX в., его начало уже стало историей, для немногих живых свидетелей оно остается настоящим, тогда как для людей моего возраста оно пребывает в указанной Хобсбаумом «сумеречной зоне». Недавнее прошлое лишь в небольшой своей части является предметом исследований историка: сбор свидетельств участников «мая 68 года», анализ войны США во Вьетнаме или итальянского кино 1960-х гг. непосредственно примыкают к разбору идеологии, геополитики или искусства в настоящий момент. Собственно говоря, именно отличие людей прошлого от нас самих определяет специфику исторического познания: наши современники разделяют с нами одну и ту же картину мира, они в большинстве своем живы и могут опровергнуть описание, сославшись на личный опыт.

Любая речь об истории длится какое-то время, а потому по ходу рассказа мы имеем, как минимум, четыре прошлых: 1) непосредственно предшествующее данному моменту прошлое (одни фразы вытекают из других, сохраняется логика изложения, внимание слушателей...); 2) прошлое всего повествования (сказанное двумя главами выше, на лекции в начале семестра, написанное автором прошлого века по тому же поводу...); 3) то событие, о котором идет речь, его место (эпоха, год, «Великое переселение народов», «походы Александра» и т.п.); 4) длительность самого описываемого события («битва при Фарсале», «речь Мирабо перед депутатами», «драка Потемкина с братьями Орловыми» и т.п.). Можно и далее подразделять как субъективное время рассказчика, так и временные параметры объекта. Для этого в романских и германских языках существуют различные модифика-

ции — *past continuous* отличается от *past perfect*, *passé composé* от *plus-que-parfait* и т.д. Обращу внимание только на то, как эти грамматические формы используются во Франции, тем более, что там, во-первых, имеются даже министерские предписания относительно того, какие временные формы использовать в школьных сочинениях и магистерских диссертациях, и, во-вторых, наметилась любопытная тенденция — замены прошлого времени на настоящее в текстах большинства историков. Я опираюсь здесь на работу Ж.Ледюка⁷, который проанализировал огромное число монографий, статей, учебников и пришел к выводу, что научное сообщество французских историков за нескольких десятилетий перешло от прежнего использования *passé simple* к *présent indicatif*. Историки всех народов часто используют настоящее время, когда они приводят аргументы в пользу той или иной концепции, излагают свою точку зрения. Настоящее время вполне уместно там, где историк занят критикой источников (они ведь перед нами в настоящем); к настоящему прибегают и историки, имеющие дело с сериями повторяющихся событий, при формулировке тех или иных номических суждений. Определение значения термина, характеристика того или иного психологического типа, который и в настоящем остался таким же, как и прежде, описание поведения группы, которое соответствует аналогичному поведению сходных групп в настоящем («все элиты утрачивают власть, если...»). Наконец, настоящее время может использоваться и в суждениях, которые задают пространственно-временные рамки происшедшего: физическая география в основном не поменялась, Нил и Волга текут там же, где и прежде, Версаль и Кремль не поменялись местами. Иными словами, идет ли речь о суждениях вкуса, банальностях, законах, историки всегда пользовались настоящим временем.

Однако современные французские историки перешли на использование настоящего времени там, где они ранее использовали исключительно *passé simple*, т.е. то время, которое, по словам Э.Бенвениста, идеально подходит для исторического рассказа, поскольку указывает на дистанцию между рассказчиком и объектом. Это время выражает завершившееся в прошлом событие или имевший место факт, который не имеет связи с настоящим. Используя это время, французские историки излагали прошлое так, словно вообще нет рассказчика — о себе рассказывают сами события. *Passé simple* уже давно не употребляется в устной речи, но оно господствовало в исторических сочинениях. Для передачи событий, которые имеют отношение к настоящему, употреблялось *passé composé*, для выражения того, что в прошлом должно было стать ближайшим будущим, использовалось *futur simple* («через два года принц станет королем», «он будет убит эсерами в 1905 году» и т.п.). Переход от всей этой гаммы временных модальностей к настоящему времени представляет собой достаточно интересный феномен. Ж.Ледюк отмечает, что нейтрализация той дистанции, которая отделяет нас от прошлого, связана с желанием историков «придать жизнь» своему рассказу, с их склонностью подчеркивать связь прошлого с настоящим — история служит сегодняшним практическим целям, она помогает нам ориентироваться в современных проблемах. К этому добавляется, с одной стороны, «онаучивание» истории в школе *Анналов* (слившиеся с социальными науками, история говорит языком законов экономики и социологии), а с другой стороны, литературные устремления представителей «*la nouvelle histoire*», сближающие

⁷ Leduc J. Les historiens et le temps. Conceptions, problematiques, écritures. P., 1999. P. 209–211.

их с «постмодернизмом». Вероятно, связано это и с тем, что мы живем в обществе, где все меньше читают, где устная речь навязывает свои правила письменности. В любом случае, историки все реже смотрят на прошлое, как на нечто невозвратно ушедшее, независимое от современности. Историки желают быть полезными согражданам, они обслуживают сегодняшние практические цели, потому-то «презентизм» и стал чуть ли не нормой для большинства современных историков.

Строго говоря, «настоящее» никогда не понималось историками как аристотелевское «теперь», как подвижная точка между прошлым и будущим, не имеющая собственной протяженности и какого бы то ни было «размера». Настоящее всегда включает в себя и недавнее прошлое и близкое будущее. Человек – существо деятельное, а любое действие предполагает как идущие из прошлого мотивы и потребности, так и направленные в будущее цели. Устремленность в будущее в иные переломные эпохи столь значима, что прошлое словно утрачивает над ним свое господство: во времена революций и смут роль традиции резко уменьшается, само прошлое переоценивается в свете новых целей. Революционное мышление утопично, оно желает отменить прошлое или, по крайней мере, перетолковать его в соответствии со своими устремлениями. Нам хорошо знакома коммунистическая утопия, переписывающая историю с точки зрения классовой борьбы. То, что в «Бытии и времени» М.Хайдеггера получило парадоксальную формулировку (не будущее зависит от прошлого, а, наоборот, прошлое от будущего), свидетельствует прежде всего о том, что мы имеем дело с мыслителем революционной эпохи, когда историка – вслед за Шлегелем – уместно сравнивать со смотрящим назад пророком. Я.Буркхардт писал об исторических кризисах: «Мировой процесс внезапно обретает пугающую быстроту; стадии развития, на которые в других условиях требуются века, кажутся пролетающими за месяцы и недели, как летучие фантомы, и на этом завершаются»⁸. Позиция того, кто желает «отречься от старого мира», радикально расходится с любым научным взглядом на действительность: пророки, харизматические лидеры, революционные деятели желают преобразовать мир, тогда как ученые часто расценивались как консерваторы и даже «контрреволюционеры» уже по той простой причине, что они желают ясно видеть мир таким, как он был и есть. Конечно, историк сам является человеком, принадлежащим своему времени с его потребностями и страстями. Однако его задача заключается именно в том, чтобы, насколько возможно, оградить свой взгляд от «шума и ярости» сегодняшних дебатов.

Однако даже в самые спокойные времена и у самых аполитичных историков «настоящее» неизбежно включает в себя прошлое и будущее – все зависит от того, какой отрезок времени служит для нас этим настоящим. Произнося слова «наука Нового времени», мы не только противопоставляем ее античной и средневековой, мы имеем в виду не только Галилея, Декарта или Ньютона, но также современное естествознание. Говоря о «британском колониализме», мы вынуждены считаться с тем, что кое-какие колониаль-

⁸ Буркхардт Я. Размышления о всемирной истории. М., 2004. С. 147. Он обращает внимание на то, что во времена кризиса «бросается в глаза прежде всего негативная, обвинительная сторона, совокупный протест против прошлого» (с. 149); пишет о неведении участников относительно тех сил, которые определяют происходящее: «И отдельные субъекты, и массы в общем списывают на счет последнего предшествующего состояния все то, что их гнетет, в то время как причиной этого являются по большей части такие вещи, в которых сказывается несовершенство самих людей» (с. 150).

ные территории сохранились донныне и даже вызывают конфликты (Гибралтар, Фолклендские острова). Настоящее может растягиваться на столетия, хотя чаще всего оно включает в себя сравнительно недавнее прошлое и ожидаемое будущее, ради которого совершаются какие-то действия.

Это подводит нас к вопросу о том прошлом, которое специфично для историографии. Социолог, экономист, психолог имеют дело либо с недавним прошлым, примыкающим к настоящему (*passé immédiat, present perfect*), даже если оно длилось долгое время; они интересуются и тем, что повторялось в прошлом, даже если сегодня в таком виде не встречается. Историк также обращается к повторениям, но специфику истории как дисциплины составляет изучение именно того, что случилось и ушло вместе с жившими некогда людьми. Романтическая теория уникального и неповторимого сужает взгляд историка (в ней сколь угодно повторяющихся событий), но она верно указывает на конечность и смертность индивидов, групп, цивилизаций, которые рождались и умирали — ни Моцарта, ни Колумба, ни викингов, ни шумерской цивилизации больше не будет, они уникальны и интересуют историка «как они действительно были». Я могу знать все теории по поводу рабовладельческой экономики, могу сопоставлять статус римских рабов с илотами в Спарте или крепостными в России, но если меня интересуют именно илоты, то я имею дело с тем, что было и навсегда ушло вместе со Спартой. Конечность и краткость человеческой жизни является онтологической предпосылкой истории.

Прошлое историка отличается от прошлого других представителей нашей культуры, не говоря уж о прошлом людей иных народов и цивилизаций, являющихся предметом его исследования. Историография зависит от предания, от памяти народа, т.е. от той суммы представлений о прошлом, существующей в сознании индивидов и групп, но к ним не сводится. Исторические представления какой-нибудь давней эпохи чрезвычайно интересны для историка, они являются важным элементом ментальности того или иного народа — без традиции не существует ни одно человеческое общество. Если предметом исследования являются исторические представления и способы их передачи, то историк вполне может употреблять такие понятия, как «культурная память», «коммуникативная память», даже «историческая память», имея в виду то, что древний египтянин или вавилонянин имел представления о генеалогии правителей, династиях, нашествиях варваров и т.п. У него имелись относительно достоверные сведения о недавнем прошлом, о тех временах, куда вели четкие династические линии — это прошлое воспринималось почти так же, как настоящее, было с ним в основных чертах схоже. С ним соприкасалось время, которое М.И. Стеблин-Каменский называл «периферийным»: воспоминания об этом прошлом смутны, это время чудес и героев. «И, наконец, мифическое время — время, лежащее за пределами народной памяти, время богов; здесь вообще часто нельзя сказать, что одно мифическое событие произошло раньше другого. События как бы плавают в некой плазме, а точнее, находятся вне всякого времени. (Время праздников — сакральное время, прорыв во время мифическое, его возвращение, установление с ним какого-то контакта.)»⁹. Даже в эпоху всеобщего среднего образования, обязательного изучения истории в школах, популярных статей в газетах и т.п. исторические представления большинства людей мало чем отличаются от представлений

⁹ Ключков И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. М., 1983. С. 25.

о ней, бытующих у бесписьменных народов. Одной из особенностей исторической науки является именно то, что она прямо или косвенно отрицает мифическое время, объясняет чудеса естественными причинами, превращает культурных героев в полководцев и законодателей. Как и прочие науки Нового времени, история «расколдовывает» действительность (на ее роль в дескарализации мира указывали многие историки, в частности Ф.Мейнеке). Сколь угодно давнее прошлое подобно настоящему, в котором не обнаруживается ни богов, ни чудес; и оно отлично от настоящего, поскольку в похожих условиях (природа мало в чем изменилась) действовали люди с иной, чем нынешняя, ментальностью.

Историю начали писать люди, желавшие сохранить память о героях прошлого для потомков, показать ошибки и преступления правителей в качестве урока для нынешних и будущих, восславить свой город или государство. Мы постоянно сталкиваемся с такого рода текстами и поныне — изменились лишь средства. То, что в учебниках по национальной истории присутствуют практические цели, ни для кого не является секретом, поскольку на уроках истории нужно в том числе и воспитывать будущих граждан. Партийная пропаганда, информационные войны, юбилеи, смена одних памятников другими — все это и многое другое имеет отношение к практическому использованию исторических знаний. Немалое число историков и философов считает это неизбежным, и выбор имеется лишь между «хорошим» и «дурным» использованием. Собственно говоря, один из тезисов историцизма заключался в том, что прошлое всегда соотносится не только с настоящим, но прежде всего с будущим — в зависимости от нашего выбора будущего мы переосмысливаем прошлое. Реальность, которой соответствует историческое познание, исторична сама: реальность есть продукт человеческого действия, осуществление свободы. Историческое познание освобождает от мертвых традиций. Формы духа являются не только категориями познания, но также способностями действия. Сам ученый историчен, он ангажирован, он пишет с определенной точки зрения, а не *sub specie aeterni*, а потому любое прошлое вплетено в решение задач настоящего. В таком случае действительно есть смысл отказаться от *passé simple* — прошлое всякий раз перечитывается заново в зависимости от «социального заказа» или «аутентичного выбора». Правда, тогда и выбирать остается между официальными историями, еретическими историями, мечтающими сделаться официальными, и ни к чему не обязывающими писаниями тех, кому вздумалось смотреть на прошлое с какой-нибудь экзотической точки зрения. Оруэлл лишь наглядно показал то, что и без того творится в политической истории: она переписывается заново в соответствии с «интересом».

Немецкий неоконсерватор Гюнтер Рормозер написал о немецких дебатах о прошлом книгу под названием «Кто интерпретирует историю?» Вся она служит доказательству единственного тезиса: «тот, кто истолковывает историю, тот определяет также и политику». Нам это хорошо известно: на место коммунистической пропаганды у нас довольно быстро пришло ничуть не менее эффективное «промывание мозгов», и ссылки на историю играют немалую роль в манипуляциях общественным мнением. Но специалисты по пропаганде и агитации не одиноки: в политической истории давно оформился некий «канон», где вся история, в том числе история мысли как ее часть, рассматривается через сетку оппозиций, таких как свобода мысли и совести *versus* теократия (жречество, цензура, инквизиторы и т.д.); свобода против тираннии; гражданское общество против этатизма или абсолютизма (в XX в. все находится в рамках одной оппозиции — демократия или

тоталитаризм). При этом история Запада рассматривается как триумфальное шествие свободы, «модернизации», это — великий нарратив Европы, разума, свободы. Такой взгляд характерен не только для марксистов. К. Поланьи в «Великой трансформации» писал о привычке либералов видеть в десяти последних тысячелетиях, во множестве первобытных обществ, простую прелюдию к истории нашей цивилизации, начинающейся где-то с публикации «Богатства народов» А.Смита. Ранее это называлось Whig history, но социал-демократия и консерватизм сегодня трактуются как составные части того же движения, субъектом которого оказывается хорошо знакомое «все прогрессивное человечество». Попытки всякого рода протестных теорий (феминизм, «третий мир» против «белой» истории и т.п.) оспорить эту Whig history делаются в духе постмодерного релятивизма и не затрагивают ее ядра: в них просто меняются или добавляются новые носители «эмансипации»¹⁰. Почти все то, что было написано за последние два столетия с использованием термина «прогресс», относится к идеологии и пропаганде — различия между ними определяются лишь степенью откровенности. Любителям разоблачений марксистской историографии не мешало бы повнимательнее приглядеться к предпосылкам значительной части трудов тех, кого снабдили грантами для нового «правильного» изложения истории.

Вряд ли следует сокрушаться по поводу того, что во многих трудах историков явно или скрыто присутствует наивная телеология: люди веками «вели борьбу за освобождение», дабы у власти находилась именно эта партия, развитие искусства должно было породить именно этот «изм» и т.д. Нам нужно ориентироваться в настоящем, от истолкования прошлого зависят все проекты будущего — писание истории начинается с удовлетворения практических интересов¹¹. Сами люди прошлого уже не нуждаются в каких бы то ни было сведениях о своей жизни — в надежной информации о прошлом нуждаются ныне живущие. Потребность в знании прошлого существует даже в первобытном племени, поскольку человеческое существование невозможно без традиции, без передачи знаний, умений и навыков. Мы не свободны от прошлого, даже если его игнорируем. Практический взгляд на прошлое преобладал у историков вплоть до XIX в. Этот взгляд неизбежно предшествует всем остальным, поскольку люди ищут полезное, исходя из изначальной для экономики мысли Аристотеля: полезность блага выше, пока его у человека нет, а с его приобретением полезность падает. Однако наивный утилитаризм все же сравнительно редко становится для историков фундаментом научных исследований — по существу, принятие такого «основоположения» уничтожило бы науку.

Сегодня сторонники «органической» связи истории с современностью чаще всего ссылаются на работу Ф.Ницше «О пользе и вреде истории для жизни» (иной раз по недоразумению ссылаются и на «Бытие и время» М.Хай-

¹⁰ См.: *Stuurman S. The Canon of the History of Political Thought; its Critique and a Proposed Alternative // Theory and History. Wesleyan Univ., 2000. Vol. 39, № 2. P. 147–166.*

¹¹ Впрочем, не следует преувеличивать роль «социального заказа» на исторические знания, да и на научные знания как таковые, вплоть до второй половины XIX в. Такой заказ «на историю» появляется вместе с всеобщим школьным образованием, учебниками, газетами, большими тиражами популярных книг, историческими романами, националистической пропагандой и т.д. Историка могли быть политически ангажированными и в прошлом (Тит Ливий или Тацит таковыми, конечно, были), но феномен идеологизированной истории, претендующей в то же самое время на звание строгой научной дисциплины, принадлежит только XIX–XX вв.

деггера), но этот взгляд куда яснее выражали давние сторонники *historia rerum gestarum*. Д.Юм писал о трех преимуществах, проистекающих из изучения истории: «она ласкает воображение, совершенствует ум и укрепляет добродетель»; она открывает дорогу другим видам знаний и снабжает материалом большинство наук — без нее «нам было бы суждено раз навсегда остаться по своим понятиям детьми», тогда как о сведущем в истории человеке «можно некоторым образом сказать, что он живет с самого начала мира и из каждого столетия черпает нечто для обогащения своих знаний»¹². Вряд ли кто-нибудь станет отрицать такого рода «пользу от истории», но она сводится к лучшему пониманию людей и обстоятельств, к тому, что мы делаемся чуть менее «провинциальными», перестаем считать свой век с его мнениями или свою точку зрения единственно возможными. Но это совсем не означает того, что мы учимся по прецедентам или становимся моральнее и прозорливее в решении наших проблем, познакомившись с деяниями людей прошлого. «Уроками мудрости» свои лекции или статьи считают, чаще всего, весьма недалекие историки, хотя прямо указывать на то, что история полезна для нас как *magistra vitae*, все же честнее, чем декларировать свою верность детерминизму, а затем прилагать все усилия для того, чтобы причинно-следственные связи вели к желанной цели.

В известной статье М.Оукшотта «Деятельность историка»¹³ проводится удачный анализ того «прошлого», с которым имеют дело историки. Оно всякий раз выступает как конструкция, которая зависит от установок исследователя. Если «прошлое» служит тому, чтобы направлять нашу настоящую деятельность, если оно связано с интересами, проектами, позициями, то его можно назвать «практическим». Здесь нет принципиального отличия между моралистом, осуждающим Тиберия или Ивана IV за тиранство и казни, и тем, кто пишет о развитии фабричного законодательства, имея в виду настоящее положение рабочих. «Мы читаем прошлое назад от настоящего или менее далекого прошлого, мы всматриваемся в него в поисках “истоков” того, что видим вокруг себя»¹⁴. «Научное» отношение к прошлому конституирует его как независимое от нас, как с нами не связанное, «прошлое само по себе». Можно сказать, что это — «история для истории», познание ради самого познания. Наконец, существует «созерцательное», т.е. в основном эстетическое отношение к прошлому, дающее «кладовую чистых образов»¹⁵. Все мы охотно читаем исторические романы и смотрим фильмы, в которых прошлое чаще всего

¹² Юм Д. Об изучении истории // Юм Д. Соч.: В 2 т. Т. 2. М., 1966. С. 818–820. Гёте как-то выразил ту же мысль в стихах:
Wer nicht von drei tausend Jahren
Sich weiss Rechenschaft zu geben
Bleibt im Dunkel unerfahren,
Mag von Tag zu Tage leben.

¹³ См.: Оукшотт М. Рационализм в политике. М., 2002. С. 128–152.

¹⁴ Там же. С. 136.

¹⁵ Речь идет не столько об истории искусства, сколько о «театре истории», колоритности персонажей и т.п. В области самого искусства и ссылки на авторитеты, и всякого рода сентиментальные биографии, излагающие, как «чувствовал» художник, неуместны. Как писал П.Валери: «Самые полезные и самые глубокие понятия, какие мы можем составить о человеческом творчестве, в высшей степени искажаются, когда факты биографии, сентиментальные легенды и тому подобное примешиваются к внутренней оценке произведения. То, что составляет произведение, не есть тот, кто ставит на нем свое имя. То, что составляет произведение, не имеет имени» (См.: Валери П. Об искусстве. М., 1993).

приукрашивается. Часто это отношение к прошлому окрашено в тона ностальгии — мы бежим в воображаемое прекрасное прошлое из заунывного и монотонного настоящего. «The good old times — all times are good, when old», — писал когда-то Байрон. Как и большинство консерваторов, сам Оукшотт не лишен именно такого отношения к прошлому, но он оправданно считает его непригодным для труда историка. Если отвлечься от деталей и не вступать в полемику с Оукшоттом по ряду моментов (прежде всего в связи с его пониманием науки), то можно согласиться с ним в том, что практическое и эстетическое отношение к прошлому предшествуют научному и всегда будут его сопровождать. Практическое отношение к прошлому преобладало прежде, оно господствует и сегодня — мешает оно не человечеству, а только историкам. Господствующий ныне «презентизм» он называет «политикой, обращенной в прошлое» и даже «некромантией»¹⁶. Сходным образом оценивал такое «воскрешение из мертвых» Л.Февр¹⁷, писавший о том, что в результате мы вторично убиваем мертвых, лишая их уже не биологической жизни, но всего того, что относилось к их духовной жизни: на место того, что они ценили, любили, ненавидели, что знали и на что надеялись, ставятся современные представления и чаяния, наклеиваются удобные этикетки — один служил «прогрессу», ибо готовил секуляризацию в «века тьмы», а другой был «реакционером», поскольку отстаивал веру, и т.п.

Научный взгляд на прошлое начинается с понимания той пропасти, которая отделяет нас от прошлого — люди далеких эпох действовали в иных обстоятельствах, были сформированы иными верованиями и решали иные проблемы. История не повторяется — все мы занимаем определенное место во времени, и даже часто повторяющееся действие входит в неповторимый контекст¹⁸. Ссылки на прецеденты бесполезны: нам нужны ориентиры, у нас имеются предшественники, мы следуем некоей традиции. Знание истории требуется хотя бы для того, чтобы понимать статьи в сегодняшней газете. Но если мы видим в людях прошлого лишь тех, кто готовил настоящее, то они выступают как средства для наших целей, как пешки в нашей шахматной партии. Все те сочинения, в которых прошлое рассматривается как урок для настоящего, как «исток», как резервуар решений для нынешних проблем, как священная традиция, которой нужно держаться, или как «века мрака и предрассудков», эксплуатации и невежества, каковые нужно преодолеть и т.д., могут быть написаны в высшей степени талантливыми и хорошо знаю-

¹⁶ «...событиям не дают спокойно уходить в прошлое, стремятся сохранить их живыми, искусственно продлевая жизнь или (если нужно) воскрешая их из мертвых, чтобы они могли передать свои идеи. Мир желает только учиться у прошлого и конструирует “живое прошлое”, которое с кажущейся убедительностью повторяет выражения, вложенные в его уста» (*Оукшотт М.* Рационализм в политике. С. 151). Эти суждения Оукшотта вполне применимы к сегодняшним теориям «исторической памяти» и «исторической травмы».

¹⁷ *Febvre L.* Amour sacré, amour profane. Autour de l'Heptameron. P., 1944. P. 356.

¹⁸ Г.Зиммель обратил внимание на то, что неповторимо каждое состояние на временной шкале, хотя в каждом из них имеется огромное число повторяющихся серийных событий. Будучи социологом, он оспаривал тезис романтиков, Дильтея и Виндельбанда, об оригинальной индивидуальности всех исторических событий. Каждая точка на шкале времени неповторима, контекст постоянно меняется, а потому нет «скуки истории» и спорны «вечное возвращение» Ницше и «отрицание отрицания» Гегеля с постоянной «игрой на повышение» в каждом новом синтезе противоположностей.

щими факты людьми, но они остаются трудами социологов, распространяющих на прошлое открытые ими в настоящем закономерности, трудами публицистов и эссеистов, но не историков. Среди авторов такого рода книг было немало значимых ученых – Кондорсе, Конт или Маркс таковыми, конечно, были, но они занимались не историей. Историк не является «пророком, оглядывающимся назад», даже если иной раз ему удается верно предсказать будущее. Роль у него куда более скромная, как и у всех ученых. Он не «воскрешает прошлое» и не «способствует прогрессу» (тем более не бежит впереди оно). Его интересует завершившееся, умершее, ушедшее. Даже если это прошлое сказывается на настоящем, историк должен брать это влияние «в скобки» – желающих открыть эти «скобки» и без него предостаточно.

Если прошлое, с которым имеет дело историк, есть завершившееся и безвозвратно ушедшее, выразимое посредством *passé simple*, а не *passé composé* (и уж никак не *présent indicatif*), то возникает вопрос о дифференциации этого прошлого. Все мы согласны с суждением Ф.Броделя, писавшего, что «для историка все начинается и все заканчивается во времени»¹⁹. Но то же самое можно сказать о всех людях, а историки по-разному подразделяют прошлое (месяцы, годы и столетия по хронологии, но также «долгие века», эры, эпохи, зоны и т.д.). Увлеченный жизнью Шумера или Милета исследователь может смотреть на них чуть ли не как на современников, тогда как историк сравнительно недавнего прошлого может подчеркивать дистанцию, отделяющую нас от наших дедов. Если первый стремится понять политическую жизнь Милета во время восстания против персов, а второй рассматривает экономические циклы, объяснимым становится и различие в установках, поскольку они имеют дело с различными прошлыми. Хорошо известно введенное Броделем понятие *longue durée*, обозначающее почти неподвижное, сливающееся с геологическим или географическим, время. Бродель отличал от него «социальное время», понимаемое как время классов, государств, экономических циклов – соответствующее ему прошлое изучается не только по архивам, но также по всей совокупности статистических данных, по множеству «следов», оставленных купцами и мореплавателями, ремесленниками и крестоносцами. Наконец, Бродель писал и о том прошлом, которым традиционно занимаются историки, но к которому он испытывал нескрываемую неприязнь. Речь идет о «биографическом» времени, о мыслях и страстях отдельных людей, их конфликтах и примирениях, интересах и целях²⁰. Подчеркивая родство истории с социологией (в статье, написанной для «Трактата по социологии», составителем которого был Ж.Гурвич), он резко критически оценивал ту историографию, которая занята такого рода прошлым, сравнимым с «легкими колебаниями волн» на поверхности моря (он отнес ее даже к разряду

¹⁹ Braudel F. Histoire et sociologie // G. Gurwitsch (ed.). Traite de sociologie. Vol. 2. P., 1960. P. 93.

²⁰ «Это история кратковременных, резких, пульсирующих колебаний. Сверхчуткая по определению, она настроена на то, чтобы регистрировать малейшие перемены. Но именно эти качества делают ее самой притягательной, самой человеческой и самой коварной. Станем остерегаться этой еще дымящейся истории, сохранившей черты ее восприятия, описания, переживания современниками, ощущавшими ее в ритме своих кратких, как и наши, жизней. Она несет отпечаток их страстей, их мечтаний и их иллюзий» (Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М., 2002. С. 21).

журналистики)²¹. Правда, далеко не все социологи сходным образом понимали задачи самой этой науки — сторонники М.Вебера или А.Шюца с ним бы не согласились («Я понимаю под *социологией* чаще всего, почти всегда, ту глобальную науку, которую хотели сделать из нее Эмиль Дюркгейм и Франсуа Симиан»²²). Предпосылкой его видения истории является именно принятие социологии как «глобальной науки».

Деление на «географическое, социальное и индивидуальное» время, конечно, не мыслилось Броделем как некая абсолютная ось координат — переходы от одного уровня к другому необходимы. В предисловии к третьему изданию «Средиземного моря...» он сделал ряд оговорок относительно «структур» географического прошлого и «конъюнктур» социального — они бывают разными по длительности. Помимо уровней «по вертикали» он признал и выстраивающиеся «по горизонтали» связи. Примирительно по отношению к индивидуальному времени звучат и его слова о «разделении человека на несколько персонажей» — заниматься биографией тоже осмысленно, но нужно иметь в виду и иные измерения времени. Однако основополагающим для него было все же «географическое» время, *la longue durée*, хотя очень многие его суждения в духе географического и экономического детерминизма спорны²³. Броделя иной раз упрекали за то, что он держался «ньютоновской» картины мира, не был знаком с теорией относительности и включал все перечисленные времена в астрономическое. Но теория относительности ничуть не менее «объективна» и «астрономична» — Эйнштейн вовсе не имел в виду того, что от позиции наблюдателя зависит ход времени (да и в мире, где скорости весьма далеки от скорости света, ньютоновская физика вполне верно описывает происходящее). Вряд ли этот «объективизм» можно считать недостатком сегодня, когда словосочетания вроде «социального времени негров в Гарлеме» или «культурной памяти жителей провинции Лангедок» сыплются как из рога изобилия. При всей плодотворности моделей и конструкций, они все же остаются нашими творениями, созданными для решения познавательных задач. Онтологизация этих моделей приводит к заполнению космоса мифологическими сущностями. Любое «социальное время» (равно как и «социальное пространство») есть лишь результат взаимодействия между индивидами, результат синтеза их темпоральных представлений. Конеч-

²¹ Еще суровее он высказался о своих коллегах в первом предисловии к «Средиземному морю...»: «В XVI веке подлинный Ренессанс сменился Ренессансом бедных, покорных, одержимых манией писать, изливать душу и рассказывать о других» (там же, с. 21). Бродель не употребил здесь подразумеваемое слово «гуманист», но именно гуманитарии последних столетий вызывают его раздражение. Трудно сказать, насколько эти слова применимы к его предшественникам-позитивистам, вроде Ланглуа (или нашего Ключевского), но они точно характеризуют немалое число сегодняшних историков.

²² Braudel F. Op. cit. P. 83.

²³ Многие суждения характеризуют не среду обитания как таковую, но конкретную ситуацию, сложившуюся в рамках Средиземноморья в определенный период. Как оценить фразу: «Неуверенность в завтрашнем дне, стесненные обстоятельства, опасности — таков жребий островов» — это верно применительно к Корсике и Криту в описываемую Броделем эпоху Филиппа II, но относится ли это к Криту времен крито-микенской культуры (не говоря уж о Британии и Хонсю)? Было ли Черное море «константинопольским заказником» (с. 150–152)? Было, если иметь в виду некоторые периоды византийской и турецкой экспансии, но само географическое положение моря не определяло эту экспансию, да и это направление было в ней далеко не самым важным. Скорее, Константинополь ощущал постоянную угрозу с Севера — готов, аваров, славян, не раз подходивших к его стенам.

но, время переживается по-разному хилиастической сектой и дельцами на бирже, полагающими, что «время — деньги», но все эти лица со своими субъективными временами являются весьма незначительными частями космоса. История всегда пишется с учетом картины мира, имеющейся на данный момент, и нам вряд ли стоит отказываться от того понимания времени и пространства, которое сложилось в науке двадцатого столетия (например, от общей теории относительности Эйнштейна). Человечество в целом занимает не слишком значительное место во Вселенной; даже в сравнении со многими видами животных срок существования вида *homo sapiens* весьма короток. При всех различиях социальных групп, ни одна из них не обрела независимости от смен дня и ночи, сезонов и т.п. Человек есть «общественное животное», а потому любое представление о времени «социально» и «коммуникативно»; из этой тривиальной констатации вряд ли можно вывести бесконечное множество времен, в конечном счете совпадающее с множеством всех когда-либо живших людей.

Я привел хорошо знакомые суждения Броделя лишь с тем, чтобы указать на возможные подразделения прошлого (другие историки совсем не обязательно следуют за Броделем). Стоит заметить, что при всей популярности словосочетания *la longue durée* даже в самой школе *Анналов* многие понимали его иначе. Тот же Ле Гофф, писавший о средневековой цивилизации, которая существовала более тысячи лет вплоть до промышленной революции, критиковал Броделя за введение чуть ли не «неподвижного времени» — геология и география учитываются историком, но они выступают для него лишь как внешние рамки. У *longue durée* уже в мифологии многих народов имеются свои предшественники — от «золотого века» мы пришли к «железному» (теперь «золотой» и «серебряный века» сменились на «каменный»). Было бы действительно смешно называть Цезаря или Бисмарка «выдающимися деятелями железного века», хотя бы потому, что почти все нам известное в прошлом относится к «железному веку».

Негативное отношение к биографическому жанру, политической и дипломатической истории в школе *Анналов* были оправданны хотя бы потому, что историки долгое время ничем другим и не занимались. Даже марксизм с его идеей «общественной формации» выигрывал в сравнении с трудами историков, продолжающих писать биографии великих личностей или создающих национальную мифологию. Скептицизм историков этой школы относился не только к официальным идеологиям Востока и Запада, но и к лежащей в их основе идее субъекта истории. Критика полуторавековой модели «прогресса», согласно которой человечество шествует «все дальше и дальше» по пути эмансипации и самореализации, была довольно точной. Сама эта модель возникла сравнительно недавно в трудах сначала просветителей, а затем немецких философов конца XVIII — начала XIX в. Возникновение историзма (а затем его разновидности, историцизма; хотя немецкое слово *Historismus* означает и то, и другое, а Гердера и Гегеля следует отличать от позднейшего релятивизма) было связано с радикальной трансформацией в онтологии. На место прежней метафизики приходит «онтология субъекта, онтология культурно-исторической деятельности человека, предстающего как некий абсолютный, а потому божественный субъект. Метафизика бытия вытесняется новой метафизикой — воли, или свободы»²⁴. Натурализация трансцендентального субъекта привела к тому, что таковым сделался человеческий род, история которого есть исто-

²⁴ Гайдено П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой. М., 2001. С. 385.

рия самопознания и борьбы. То, что для одних «избранным народом» в истории сделался «рабочий класс», для других — «арийская раса», для третьих — сначала студенты в союзе с «угнетенными меньшинствами», а затем либеральные интеллектуалы, вещающие об эмансипации на talk-show, не меняет общей установки сознания. Выше такое отношение к истории было отнесено к «практическому», но большинство историков XIX—XX вв. отдали дань подобной идеологизированной историографии.

Существование таких явно или неявно политизированных историй часто приводится как аргумент теми, кто желает доказать, что объективного знания вообще нет и быть не может, что все исторические писания созданы заинтересованными людьми, а потому весь вопрос в том, каковы эти люди, какими интересами руководствуются, скажем, служат «прогрессу» или «реакции». Тогда выбирать нам следует между good guys и bad guys, а третьего не дано. На науку в таком случае переносится известное определение «политического», данное К.Шмиттом, и выбор остается лишь между «другом» и «врагом». То, что в мире есть множество историков, желающих послужить своему государству или классу, повторяющих за поэтом «я хочу, чтоб к штыку приравняли перо» или просто это перо продающих, доказывает как раз обратное. Не случайно именно эти историки так настойчиво подчеркивают свою строгую объективность — чтобы их писания были куплены и высоко оценены, им нужна научная респектабельность. Подобно тому, как наличие монахов, помогающих иконе источать благовонные масла с помощью насосика, ничуть не опровергает существования Бога, так и творения политиканствующих ученых никак не порочат саму науку — они к ней чаще всего просто не имеют ни малейшего отношения. Да и всякому стороннему наблюдателю понятно, что лишь небольшая часть исторических сочинений вообще соотносится с идеологическими запросами сегодняшнего дня. Воспитание детей в Англии времен Шекспира, математика в Вавилоне или поэзия вагантов, сочинения стоиков или бухгалтерские книги во Флоренции, полисы греко-македонцев в царстве Селевкидов или плавание викингов — все это и подавляющее большинство других тем исторических повествований никак не сводятся к отношению «друга» и «врага», попросту не относясь к узкой сфере политики. Но и политическую историю — даже недавнего прошлого — совсем не обязательно пишут идеологически «ушибленные» историки. Именно поэтому всерьез занятый своим делом историк с недоверием относится к некоторым сегодняшним социологическим теориям, которые не только идеологически «ангажированы» (только дилетант не увидит политической подоплеку социологических сочинений Р.Арона или П.Бурдьё), но также применяют к прошлому обнаруженные в современном обществе закономерности. Желание «оживить» прошлое, приблизить к нам далеких или близких предков, показать, что ими владели те же страсти, чаще всего свидетельствует просто о профессиональной несостоятельности, отсутствии элементарных навыков научной работы.

Когда сторонники презентизма начинают изображать из себя медиумов «живой памяти» или даже целителей, возвращающих «вытесненное» (цензурой правящих слоев или официальных историков), они ведут хорошо всем знакомую политическую игру: апелляция к массам поверх голов профессионального сообщества может принести известность в СМИ, гранты от заинтересованных организаций, да еще реноме «борцов» с якобы догматичной и бесчувственной наукой. Чаще всего реальные проблемы науки (скажем, соотношение «устной истории» с традиционной историографией) этих «бор-

цов» вообще не интересуют. Исследовать недавнее прошлое, включая Холокост и ГУЛАГ, конечно, нужно; использовать при этом свидетельства пострадавших необходимо, но работа ученого ведется в тиши архива или за письменным столом, тогда как указанные «борцы» предпочитают talk-show.

Историк имеет дело с ушедшим из нашего мира, он обращается к тем людям, которых уже нет, и не с целью привлечь их на свою сторону в дебатах сегодняшнего дня. Тот, кто этим занимается, может быть и честным, и бесчестным политиком или публицистом, может хорошо знать историю или быть круглым невеждой. Не только политики, но и обслуживающие идеологические кампании публицисты, пишущие «черные книги» или в очередной раз подсчитывающие число жертв политических режимов XX столетия, не блещут историческими познаниями. Познают и знают именно историки. Как и любые другие научные знания, их труды могут использоваться другими — во зло или во благо, арабами или евреями, сербами или хорватами. Можно быть коммунистом или либералом, националистом или интернационалистом, но не прибегать к фальсификациям и подделкам.

Увлечение историков «презентизмом» понятно и без всяких философских мод: массовое общество создает своих кумиров, оно буквально требует популяризации в газетах и журналах, в телепрограммах, в Интернет-изданиях. Появился огромный слой полуобразованных людей, получивших общее среднее или высшее образование, сделавшихся инженерами, врачами, маклерами, химиками и т.д. Эти люди проявляют интерес к истории и готовы тратить деньги на ярко написанные книжки, на каналы телевидения, вещающие исключительно о событиях прошлого. Спрос рождает предложение, а у далекого от исторической науки и совсем неглупого «человека с улицы» взгляд на историю неизбежно «практический», подводящий прошлое к настоящему — этот взгляд вообще характерен для «ставшего всем» третьего сословия. К тому же в западных обществах чрезвычайно велико число недоучек-гуманитариев. В Европе с ее все расширяющимся полным средним и бесплатным высшим образованием на факультеты истории, философии, права записывается огромное число людей, которые отсеиваются за первый-второй курсы. Можно посочувствовать и тем, кому учиться мешала бедность, и тем, кто просто не в состоянии одолевает университетский курс. Но у изрядного числа этих молодых людей наряду с азами познаний первого курса присутствует и *ressentiment* недоучек: им кажется, что они оказались за бортом не в силу собственной неподготовленности или малого старания, а из-за «догматизма», «жестокости» и т.п. качеств проклятых «мандаринов», обитающих в своих «замках из слоновой кости» и не видящих того, что их социология, философия, история не соприкасаются с «жизнью». Таких людей за несколько десятилетий демократизации образования в городах Европы скопились уже миллионы — им очень легко «сбыть» книги и статьи «разоблачителей» и «ироников». Спрос на псевдонаучные и политизированные версии истории столь велик, что отклик на него со стороны не только шарлатанов, но и немалого числа ученых представляется неизбежным. Именно поэтому «презентизм» приобрел такое влияние, что иные члены профессионального сообщества, причем иной раз далеко не худшие ученые, начинают сочинять теории вроде «исторической памяти».

Еще раз повторю то, о чем в том или ином виде говорилось выше: историк занят не выведением настоящего из прошлого, не оживлением людей прошлого («некромантией»), не изобретением прошлого в свете прогрессивных устремлений. Он занят исключительно прошлым *wie es eigentlich gewesen war*. Кого-то история может научить лучше действовать в настоя-

щем и не повторять ошибок и преступлений, кого-то она научить не способна, но она вообще занята не этим. Даже незнакомый с феноменологией Гуссерля историк умеет «брать в скобки» все сегодняшние дебаты и проблемы, теории и предвзятые мнения толпы, чтобы понять, как жили, чувствовали, умирали люди иных времен. Такой историк может иметь ясно выраженные политические позиции, предпочитать одну философскую или религиозную доктрину другой, но это не должно сказываться на его интерпретации прошлого. Как он использует свои знания сам, кто их использует за него при решении самых разных практических задач — это не вопрос исторического познания как такового (хотя историка вполне может заинтересовать то, как польские и московские монархи XVII в. оправдывали свои притязания фантастическими генеалогиями, т.е. практически использовали имевшиеся фантастические представления о древности). Историк вполне может проследивать и влияние прошлого на институты, обычаи, нравы настоящего, но и это он делает, отрешившись от «шума и ярости» сегодняшних споров. Настоящее тогда превращается в прошлое, в один из тех синхронных срезов (состояний), которые он привык сопоставлять в иных эпохах. На морализаторское негодование желающих «служения прогрессу» или «воспитания патриотизма» он вынужден обращать внимание только потому, что они отвлекают его от научной работы. Завершив эту работу, он сам может поучаствовать в полезных для его отечества, класса или угнетенного меньшинства делах. Упреки в том, что научные изыскания тогда не имеют никакой ценности и не стоят того, чтобы их финансировали налогоплательщики, отчасти справедливы, поскольку от археологических раскопок Херсонеса или Чатал-Гююка, от интерпретации того или иного клинописного текста нет никакой пользы ни налогоплательщикам, ни политикам. Но в таком случае следовало бы считать напрасным и финансирование этологов, изучающих брачное поведение несъедобных пернатых, или астрофизиков, исследующих свет от звезд, которые уже могли исчезнуть, пока этот свет до нас дошел. Эти вполне законные аргументы налогоплательщика, впрочем, следовало бы для начала обратить к огромному числу чиновников, генералов, политических шоуменов и т.п. публике, но с ними должен считаться и ученый. Отличие истории от естественных наук связано с тем, что мы сами, в отличие от птиц и звезд, сформированы историей, наша идентичность как «русских» или «поляков», «свободных граждан» или «подданных государства», «интеллектуалов» или «интеллигентов» укоренена в истории. Отличие ученых от шумных «борцов за память», вероятно, определяется тем, что у первых с идентичностью нет проблем, и они могут спокойно заниматься людьми прошлого с иной идентичностью, сравнивать, ценить и свое, и давно ушедшее; испытывающий «кризис идентичности» маргинал либо выдает собственную пустоту за удел человеческий, либо вменяет в вину людям прошлого свою маргинальность, либо, чтобы заполнить эту пустоту, впадает в мегаломанию, делая из себя вершину исторического развития, к коей стремилось все человечество, начиная с палеолита. Как и всякий ученый, историк остается весьма несовершенным и слабым существом, живет не в лучшем из миров и должен считаться с окружающей средой, включая зависимое от политиков начальство, но ему нет нужды восхвалять или хулить прошлое. Одного мыслителя древности изображали плачущим над глупостью людской, другого смеющимся над нею. Нам всем это свойственно, но пока мы заняты научным поиском, задача и очень сложна, и чрезвычайно проста: «не плакать, не смеяться, но понимать».